

Обман

Под самое Рождество мы ехали на юг и, сидя в вагоне, рассуждали о тех современных вопросах, которые дают много материала для разговора и в то же время требуют скорого решения. Говорили о слабости русских характеров, о недостатке твердости в некоторых органах власти, о классицизме и о евреях. Более всего прилагали забот к тому, чтобы усилить власть и вывести в расход евреев, если невозможно их исправить и довести, по крайней мере, хотя до известной высоты нашего собственного нравственного уровня. Дело, однако, выходило не радостно: никто из нас не видал никаких средств распорядиться властью, или достигнуть того, чтобы все, рожденные в еврействе, опять вошли в утробы и снова родились совсем с иными натурами.

— А в самой вещи, — как это сделать?

— Да никак не сделаешь.

И мы безотрадно поникли головами.

Компания у нас была хорошая, — люди скромные и несомненно основательные.

Самым замечательным лицом в числе пассажиров, по всей справедливости, надо было считать одного отставного военного. Это был старик атлетического сложения. Чин его был неизвестен, потому что из всей боевой амуниции у него уцелела одна фуражка, а все прочее было заменено вещами статского издания. Старик был беловолос, как Нестор, и крепок мышцами, как Сампсон, которого еще не остригла Далила. В крупных чертах его смуглого лица преобладало твердое и определительное выражение и решимость. Без всякого сомнения это был характер положительный и притом — убежденный практик. Такие люди не вздор в наше время, да и ни в какое иное время они не бывают вздором.

Старец все делал умно, отчетливо и с соображением: он вошел в вагон раньше всех других и потому выбрал себе наилучшее место, к которому искусно присоединил еще два соседние места и твердо удержал их за собою посредством мастерской, очевидно заранее обдуманной, раскладки своих дорожных вещей. Он имел при себе целые три подушки очень больших размеров. Эти подушки сами по себе уже составляли добрый багаж на одно лицо, но они были так хорошо гарнированы, как будто каждая из них принадлежала отдельному пассажиру: одна из подушек была в синем кубовом

ситце с желтыми незабудками, — такие чаще всего бывают у путников из сельского духовенства; другая — в красном кумаче, что в большом употреблении по купечеству, а третья — в толстом полосатом тике — это уже настоящая штабс-капитанская. Пассажир, очевидно, не искал ансамбля, а искал чего-то более существенного, — именно приспособительности к другим гораздо более серьезным и существенным целям.

Три разношерстные подушки могли кого угодно ввести в обман, что занятые ими места принадлежат трем разным лицам, а предусмотрительному путешественнику этого только и требовалось.

Кроме того, мастерски заделанные подушки имели не совсем одно то простое название, какое можно было придать им по первому на них взгляду. Подушка в полосатом тике была собственно чемодан и погребец и на этом основании она пользовалась преимущественным перед другими вниманием своего владельца. Он поместил ее vis-a-vis перед собою, и как только поезд отвалил от амбаркадера, — тотчас же облегчил и поослабил ее, расстегнув для того у ее наволочки белые костяные пуговицы. Из пространного отверстия, которое теперь образовалось, он начал вынимать разнокалиберные, чисто и ловко завернутые сверточки, в которых оказались сыр, икра, колбаса, сайки, антоновские яблоки и ржевская пастила. Всего веселее выглянула на свет хрустальная фляжка, в которой находилась удивительно приятного фиолетового цвета жидкость с известною старинною надписью: «Ея же и монаси приемлят». Густой аметистовый цвет жидкости был превосходный, и вкус, вероятно, соответствовал чистоте и приятности цвета. Знатоки дела уверяют, будто это никогда одно с другим не расходится.

Во все время, пока прочие пассажиры спорили о жидах, об отечестве, об измелечании характеров и о том, как мы «во всем сами себе напортили», и, — вообще занимались «оздоровлением корней» — беловласый богатырь сохранял величавое спокойствие. Он держал себя как человек, который знает, когда ему придет время сказать свое слово, а пока — он просто кушал разложенную им на полосатой подушке провизию и выпил три или четыре рюмки той аппетитной влаги «Ея же и монаси приемлят». Во все это время он не проронил ни одного звука. Но зато, когда у него все это важнейшее дело было окончено как следует, и когда весь буфет был им снова тщательно убран, — он щелкнул складным ножом и закурил с собственной спички невероятно толстую, самодельную папиросу, потом вдруг заговорил и сразу завладел всеобщим вниманием.

Говорил он громко, внушительно и смело, так что никто не думал ему возражать или противоречить, а, главное, он ввел в беседу живой и

общезанимательный любовный элемент, к которому политика и цензура нравов примешивалась только слегка, левою стороною, не докучая и не портя живых приключений мимо протекшей жизни.